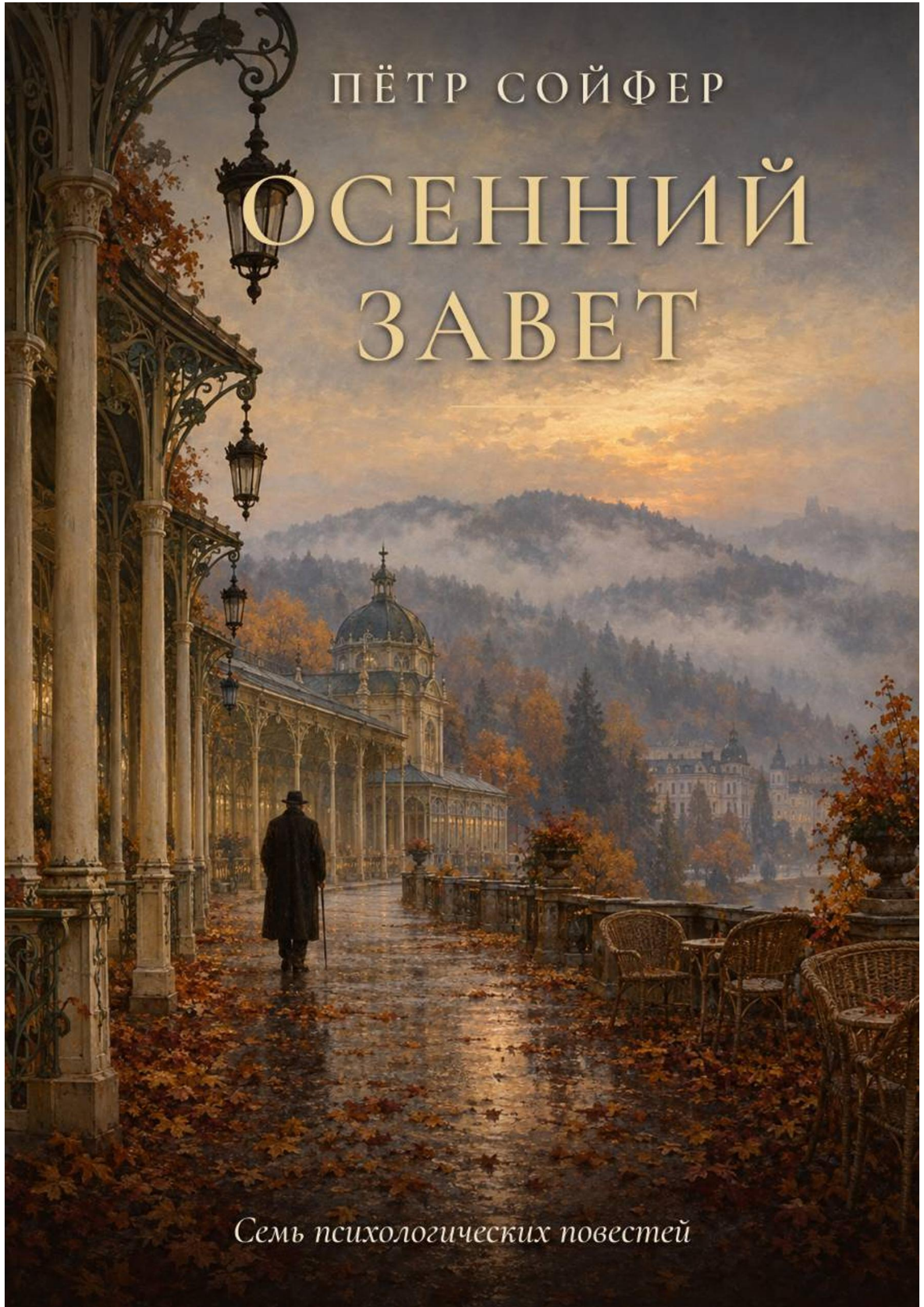




ПЁТР СОЙФЕР

ОСЕННИЙ ЗАВЕТ

Семь психологических повестей

Петр Сойфер

Осенний завет

«Автор»

2026

Сойфер П.

Осенний завет / П. Сойфер — «Автор», 2026

Европа, 1912–1914. На опустевших осенних курортах, в Мариенбаде, Карлсбаде, Баден-Бадене, Бад-Ишле, Давосе, Спа и Аббации, остаются те, кому некуда спешить. Вдовец пишет письма умершей жене. Математик пытается вычислить случай. Стареющая примадонна готовится к несуществующему бенефису. Старый полковник ведёт давно кончившуюся войну. Каждый держится за свою спасительную иллюзию. Семь психологических повестей о памяти, самообмане и милосердии, написанные психиатром, — о последних тихих годах старой Европы накануне катастрофы.

© Сойфер П., 2026

© Автор, 2026

Петр Сойфер

Осенний завет

Доктор Пётр Сойфер

Осенний завет

Семь курортных повестей

Пролог. Расписание поездов

В книжных лавках Европы накануне 1914 года продавались толстые справочники в красных коленкорových переплётках — путеводители Бедекера. В них было сказано всё: сколько стоит номер с видом на горы в Мариенбаде и сколько — во двор, в котором часу открывается бювет в Карлсбаде, где в Баден-Бадене лучше заказывать форель, сколько дать на чай носильщику в Спа и какой тёплый плед взять с собой в Давос. Рядом лежали железнодорожные расписания, напечатанные мелким шрифтом на тонкой бумаге. По ним можно было сесть вечером в спальный вагон в Париже, выпить утром кофе в Мюнхене и к ужину сойти на перрон в Богемии. Для этого не требовалось ни визы, ни паспорта: паспорт спрашивали разве что на русской и турецкой границе, а в остальном континент был одним огромным домом с незапертыми дверями.

Каждое лето этот дом съезжался на воды.

Курортные городки лежали в долинах Богемии, Шварцвальда, Зальцкаммергута, Арденн, на берегу Адриатики и в снегах Граубюндена, и все они были похожи друг на друга, как сёстры: колоннады из белого камня или чугуна, питьевые галереи, курзалы, парки с посыпанными гравием дорожками, пансионы с резными балконами, кондитерские, почтамты, аптеки. Каждое утро местная типография выпускала «Куристу» — список прибывших гостей, где рядом стояли прусский генерал, одесский хлеботорговец, английский лорд, венская актриса и директор пражской гимназии. В Мариенбад несколько лет подряд приезжал английский король Эдуард, в Ишле каждое лето жил старый император Франц Иосиф, в Баден-Бадене когда-то проигрывал последние деньги Достоевский, а в Давос в двенадцатом году приехал навестить больную жену немецкий писатель Томас Манн — и увёз оттуда замысел романа, который допишет только через двенадцать лет.

На воды ездили лечиться. Пили горькую железистую и солёную воду из фарфоровых кружек с носиком, принимали торфяные и углекислые ванны, гуляли по предписанному врачом маршруту — столько-то шагов в гору, столько-то под гору. Но лечились здесь не только от подагры и больной печени. Курорт был местом, где жизнь на несколько недель останавливалась. Здесь не нужно было ни работать, ни принимать решений. Можно было часами сидеть под колоннадой и слушать квартет, читать газету недельной давности, рассказывать незнакомым людям истории, которые дома никто не стал бы слушать, и выдумывать себе прошлое, какое захочется. Приезжий оставлял дома свою настоящую жизнь, как оставляют в передней тяжёлое пальто.

А за пределами этих долин мир двигался всё быстрее. В двенадцатом году затонул «Титаник», и газеты целый месяц писали о гордыне инженеров. В том же году на Балканах началась война, потом вторая, и в «Прагер Тагблатт» и «Нойе Фрайе Прессе» появились карты с новыми границами, которые мало кто давал себе труд запомнить. В Киле и Портсмуте спускали на воду дредноуты. Генеральные штабы уточняли планы мобилизации, рассчитанные по тем же железнодорожным расписаниям, что лежали в карманах курортников. Но всё это происходило где-то там — на страницах газет, в кабинетах министерств, в дальних провинциях. В Мариенбаде

по-прежнему играл квартет, в Карлсбаде по-прежнему били из-под земли горячие ключи, и каждый октябрь по-прежнему закрывались на зиму кондитерские.

Осенью курорты пустели. Уезжали семьи с детьми и гувернантками, шумные коммерсанты, светские дамы, молодые офицеры. Оставались те, кому некуда или незачем было спешить: вдовцы, старые девы, отставные военные, больные, разорившиеся, одинокие. Над долинами повисал туман, в опустевших отелях гасли верхние люстры, и в каминных залах собирались маленькие кружки людей, связанных только тем, что им было хорошо вместе молчать. Те, кто оставался, привозили с собой что-то, что помогало им держаться: письмо, которое нельзя отправить; уравнение, которое должно сойтись; бенефис, который никогда не состоится; слово, которое нельзя произносить вслух; фасад, за которым ничего нет; войну, которая давно кончилась; любовь, которой, может быть, никогда и не было.

Эта книга — о них. О семи сезонах на водах, пришедшихся на три последних года старой Европы.

Никто из героев этих повестей не знал того, что знаем мы. Никто не знал, что летом четырнадцатого года в Сараеве прозвучат два выстрела, что через месяц по тем самым расписаниям пойдут воинские эшелоны, что курортные отели станут госпиталями и штабами, а многие из тех, кто пил воду под колоннадами, больше никогда туда не вернутся. Они жили так, будто у них впереди бесконечное количество осеней.

Что они успели понять о себе, прежде чем кончилось время?

Повесть I. Сезон в Мариенбаде

Мариенбад, 1912

«Нам кажется, что мы живём на твёрдой земле, а между тем всё кругом нас — лишь отражение в проходящем облаке, и грань между тем, что было, и тем, что снилось, тоньше шёлковой нити...»

От автора

Глава I. Серый шёлк и холодная соль

Осень оседала на Мариенбад медленно, без бурь и резких заморозков, словно тяжёлый серый шёлк, опускаемый на мебель в покинутом доме. В воздухе сутками висела мелкая, почти невесомая морось — старые курортные слуги называли её «венским дождём». Она не стучала по жестяным карнизам и не смывала грязь с мостовых. Она лишь обволакивала чугунные виньетки балконных решёток, оседала на пожелтевших кронах парковых дубов и оставляла на суконном плече пальто россыпь крошечных блестящих капель, похожих на пот на запотевшем стекле.

Леон приехал ночным поездом из Эгера, когда курорт уже окончательно угас. Со станции его вёз сонный извозчик в клеёчатом плаще; лошадь всю дорогу шла шагом, и в темноте было слышно лишь чмокание копыт по лужам да поскрипывание рессор. Сезон закрылся недели две назад. Уехали шумные берлинские коммерсанты с их сигарами и громким смехом, исчезли семейные экипажи с суетливыми гувернантками и капризными детьми. Опустели сувенирные лавки, где ещё месяц назад бойко торговали резными деревянными кружками, гранёным богемским стеклом и карлсбадскими вафлями в жестяных коробках. На витринах теперь висели изнутри холщовые шторы, а на дверях — таблички с одним словом: «Geschlossen».

Огромный пятиэтажный гранд-отель «Нобель» казался полупустым. Из сотни окон по фасаду светились от силы полтора десятка.

В просторном вестибюле, где под высоким лепным потолком ещё жило эхо давних балов, пахло старыми коврами, свежим парафином, влажной шерстью и чуть прогорклым ванильным кремом из закрывавшейся на зиму кондитерской. Шаги редких постояльцев глухо тонули в красной ковровой дорожке. Над конторкой портье тикали часы в футляре из орехового дерева,

и между ударами маятника было слышно, как где-то в глубине здания капает вода. Служитель в ливрейном фраке проводил Леона на третий этаж, ступая так бесшумно и почтительно, будто нёс не тяжёлый кожаный саквояж, а святые дары.

Первые три дня Леон почти не выходил из номера. Он просыпался поздно, от тусклого рассеянного света, едва сочившегося сквозь плотные портьеры из зелёного репса. Комната хранила ту глубокую, ватную тишину, какую можно найти лишь в старых европейских лечебницах поздней осенью. Изредка с улицы доносился мерный стук подков по мокрому булыжнику, да далеко, за холмами, коротко вскрикивал паровоз.

Он лежал на высокой крахмальной постели, заложив руки за голову, и разглядывал лепную розетку на потолке. В её гипсовых акантовых листьях застряла пыль, придававшая узору сероватую тень, словно карандашную растушёвку. Леону было тридцать девять лет.

Ещё месяц назад у него был тесный кабинет на Берггассе с окнами на шумную улицу, клеёная кушетка и бесконечная вереница чужих надломленных судеб: слёзы, истерики, затаённые обиды, признания шёпотом, стыдные сны. И ещё был собственный брак, рушившийся медленно и беспощадно, пока всё не закончилось сухим бумажным оформлением в адвокатской конторе с запахом сургуча и мокрых зонтов. В городе он чувствовал себя человеком с до предела натянутой последней жилой: ещё один звук, ещё один чужой упрёк — и она лопнет с сухим, мерзким треском.

Здесь, в Мариенбаде, жила ослабла. Но облегчения не пришло. Пришло тяжёлое, полное оцепенение. Ему казалось, будто из него вынули весь внутренний каркас, оставив оболочку, способную одеваться, завязывать галстук перед мутным трюмо и спускаться к завтраку. За завтраком он механически намазывал масло на тёплую булку, пил жидкий кофе со сливками и не чувствовал вкуса ни того, ни другого.

К четырём часам дня, когда сумерки уже начинали сгущаться над парком, Леон надевал пальто, брал тяжёлый зонт с костяной рукоятью и спускался к Крестовому источнику.

Под высокими сводами чугунной колоннады пахло минеральной водой — тяжёлым, аптечным запахом железа, мокрого камня, серы и сырой соли. Старая бюветница в белом крахмальном чепце продала ему за двадцать геллеров плоскую фарфоровую кружку с длинным изогнутым носиком. Вода была прохладной, чуть покалывала язык и оставляла во рту терпкий металлический осадок, похожий на вкус крови из прикушенной губы. Пить её полагалось медленно, втягивая через узкий носик, чтобы железо не темнило зубы. Леон стоял у резной чугунной ограды и смотрел, как туман ползёт с холма вниз, затягивая первые ярусы соснового бора. Сосны исчезали не сразу: сначала бледнели верхушки, потом стволы становились плоскими, как вырезанные из серой бумаги, и лишь затем растворялись совсем.

Под крышей колоннады, чуть в стороне от бювета, репетировал курортный струнный квартет. Четверо пожилых музыкантов в потёртых сюртуках — первому скрипачу было никак не меньше семидесяти — играли с той особой, чуть усталой точностью, которая даётся лишь десятилетиями ежедневных выступлений перед равнодушной публикой. У виолончелиста на коленях лежал клетчатый плед, а на пюпитре альтиста, прижатая к нотам бельевой прищепкой, трепетала от сквозняка страница. Скрипка выводила протяжный меланхоличный мотив, похожий на кружение осеннего листа. Звуки плыли над мокрыми плитами, смешивались с журчанием стекающей воды и тонули в тумане.

Леон слушал, прислонившись спиной к холодной колонне. Ему казалось, что этот город, этот дождь и эти музыканты существовали всегда — сто лет назад и будут существовать столько же впредь. Вся здешняя жизнь представлялась ему выцветшей, аккуратно написанной акварелью, где не было места резким движениям, громким голосам и внезапным трагедиям.

Именно здесь, на четвёртый день, он впервые обратил внимание на старую даму в глубоком чёрном капоре и тёмно-синем суконном пальто с меховым воротником.

Она шла по аллее удивительно прямой, почти девичьей походкой и держала под руку бледную девушку с болезненно-ярким румянцем на скулах. Девушка часто и сухо покашливала в платок, и Леон, не задумываясь, отметил про себя этот кашель так, как опытный настройщик отмечает фальшивую ноту. Позади них, на некотором отдалении, шёл флегматичный старик с пышными седыми бакенбардами и докторским саквояжем; в нём без труда угадывался местный курортный врач.

Старая дама говорила негромко, но высокая галерея доносила её голос совершенно отчётливо. Удивительный голос — мягкий, бархатистый, с лёгким грассирующим акцентом, похожий на шелест сухих липовых листьев под ветром.

— Ах, милочка, — говорила она, на мгновение остановившись у ажурного фонарного столба и указывая рукой в лайковой перчатке в сторону туманного парка, — вы не можете себе представить, каков был Мариенбад в то лето! Не курорт, а сплошной праздник света и музыки. Розы... о, эти голландские розы вдоль центральной аллеи! Вечером их аромат стоял такой густой, что его, кажется, можно было пить вместе с воздухом. И оркестр каждый вечер играл Штрауса у Лесного источника.

Девушка слушала её, приоткрыв рот и даже забыв поднести платок к губам. Леон же, сам того не желая, вслушался в этот тонкий, убаюкивающий говор. Что-то в нём насторожило его профессиональный слух: слишком безупречная плавность фраз, слишком выверенная, почти сценическая живописность деталей. Ни одного «кажется», ни одного «впрочем, не помню».

За годы практики Леон научился отличать настоящие воспоминания — всегда рваные, сумбурные, полные нелепых мелочей и стыдливых пауз — от воспоминаний, выстроенных для того, чтобы заслонить собой реальность. Настоящая память всегда спотыкается. Эта — скользила, как по натёртому паркету.

Дама прошла мимо, оставив за собой тонкий запах сухой лаванды и старых, выдохшихся духов с нотой ириса.

— Кто эта дама? — тихо спросил Леон у коридорного, пересекавшего галерею с охапкой берёзовых поленьев.

Слуга остановился, почтительно проводил взглядом удаляющуюся фигуру и понизил голос:

— Фрау фон Берг, сударь. Элеонора фон Берг, из венгерских дворян. Приезжает к нам каждую осень, вот уже сорок лет. Всегда в один и тот же номер, всегда в октябре. Очень почтенная дама, сударь. Очень.

Леон промолчал. Он смотрел ей вслед, пока её прямая, немного нереальная фигура не растаяла в белом тумане, и вдруг подумал, что в ближайшие три недели этот серый город уже не покажется ему совсем пустым.

Глава II. Липовый цвет и старые тетради

В каминном зале «Нобеля» по вечерам пахло берёзовым дымом, старой сафьяновой кожей и горячим какао. Между двумя высокими зеркалами в тёмных бронзовых рамах висел старинный барометр в резном дубовом окладе. Его стрелка застыла на делении «Regen», и никто в отеле — от портье до старого рыжего кота, спавшего на сафьяновом диване, — не сомневался, что она простоит так до весны. Зеркала за долгие годы потемнели по краям, и отражения в них выглядели чуть зеленоватыми, словно подёрнутыми тонким льдом.

Негласным центром этого уютного полутёмного пространства была Элеонора фон Берг.

Каждый день ровно в пять часов, когда окна окончательно синели, а парковые фонари начинали отбрасывать на мокрую мостовую длинные жёлтые полосы, она спускалась в зал. В руках у неё неизменно была небольшая тетрадь в кожаном переплёте с потёртыми золочёными уголками и серебряный карандаш на тонкой цепочке. Следом слуга нёс поднос: пузатый фарфоровый чайник с липовым цветом и розетку с прозрачным, как янтарь, сливовым вареньем.

Когда Элеонора снимала крышку с чайника, над столом поднимался пар с медовым, чуть пыльным запахом летнего чердака.

Вокруг её столика у камина мало-помалу собирался свой камерный кружок. Сюда приходили те немногие, кого осенний Мариенбад ещё не погрузил в окончательное уныние. Бледная Софи — та самая девушка с аллеи — снимала комнату в дешёвом пансионе за углом, но Элеонора взяла её под покровительство, и портье пускал её в зал без лишних вопросов. Софи всегда куталась в вязаный шерстяной платок и держала на коленях муфту, из которой торчал уголок носового платка. Был отставной профессор ботаники из Праги, господин Клопш, без конца протиравший замшей свои синеватые очки. И была молодая вдова в глубоком трауре, искавшая на курорте успокоения после внезапной смерти мужа-фабриканта; креп её вуали пах нафталином, а перчатки — дорогой кожей и слезами.

Леон садился поодаль, у круглого стола с журналами. Он раскрывал свежий номер «*Fliegende Blätter*» или «*Neue Freie Presse*», но не читал. Поверх страницы он наблюдал за Элеонорой, и с каждым днём его клинический слух ловил всё больше странных, едва уловимых подробностей.

— Это было в семидесятом году, — мягко, почти не шевеля губами, говорила Элеонора и наливала чай в тонкую чашку. Струйка лилась ровно, не расплёскиваясь. — Мы познакомились у Лесного источника. В тот день шла гроза... настоящая летняя гроза, с озоном и тёплыми крупными каплями. Стефан стоял под навесом. У него были совсем мокрые кудри и глаза... о, какие у него были глаза! В них отражалось всё небо. Он был архитектором, приехал из Вены перестраивать старую купальню.

Софи слушала, подавшись вперёд всем своим хрупким телом, и почти не дышала. Вдова тихо вздыхала, роняя слезу на кружевную кайму платка. Профессор Клопш кивал и в паузах вставлял что-то о том, что Гёте в своё время тоже потерял здесь сердце — правда, в двадцать третьем году и, увы, без взаимности.

— Мы встречались каждый день у третьей беседки, — продолжала Элеонора, и голос её звучал как ровная, отшлифованная временем музыка. — Он приносил мне чертежи своих будущих дворцов. Мы должны были уехать в августе. Всё было готово: паспорта, билеты до Триеста, маленькая вилла на берегу Адриатики... Я прождала его у источника три часа. День был тихий, солнечный, пахло сосновой хвоей и цветущей липой. Он просто не пришёл. Отец увёз меня в тот же вечер. Но я знаю... я точно знаю, что он любил меня. Судьба просто разлучила нас.

Леон перевернул страницу газеты. Сухой шорох бумаги прозвучал в тишине зала почти дерзко.

Он смотрел на её руки. Когда она говорила о непришедшем архитекторе, тонкие белые пальцы с перстнем из блёклого сапфира оставались совершенно неподвижными. В них не было той едва заметной судороги, того лёгкого дрожания, которое неизбежно выдаёт человека, коснувшегося живой, незажившей раны. Глаза её смотрели не в глубину памяти, а поверх голов слушателей, словно она читала наизусть хорошо заученную пьесу. И ещё одно царапнуло его слух, хотя он не сразу понял, что именно: в августе липа в этих краях давно отцветает. Липовый цвет — это июнь, самое начало июля.

«Слишком ровно, — думал Леон, чувствуя знакомое профессиональное покалывание в затылке. — Ни одного срыва ритма. Ни одной паузы для вдоха. В настоящем горе всегда есть что-то уродливое, стыдное, неоформленное. А здесь — мраморная статуя».

На пятый вечер в каминный зал заглянул доктор Манек. На старом курортном враче был потёртый твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях; от него густо пахло камфорой, дешёвым табаком и промозглой улицей. Он без церемоний опустился на стул рядом с Леоном, взял из его портсигара папиросу, прикурил от каминной лучины и произнёс вполголоса:

— Слушаете нашу сказительницу, коллега?

— Она рассказывает удивительно поэтично, — ответил Леон, не сводя глаз с Элеоноры. В этот момент она показывала Софи засушенный цветок, вложенный между страницами тетради: бурый, почти бесцветный, похожий на крылышко мотылька.

Манек выпустил сизый клуб дыма, медленно поплывший к абажуру.

— Поэтично... Да, подходящее слово. Она читает им эту романтическую литургию каждый год. И знаете, что удивительнее всего? Эти бедолаги — Софи с её каверной, вдова, оставшаяся с долгами покойного мужа, — ведь они оживают. Они пьют её вымысел, как целебный бальзам. Её кружок — лучшая лечебница в Мариенбаде. Без единого порошка и без единой клизмы.

— Вы сказали «вымысел»? — тихо спросил Леон.

Манек усмехнулся в пышные седые усы и посмотрел на Леона с той усталой иронией, какая бывает лишь у провинциальных врачей, прослуживших на одном месте полвека.

— А вы, с вашими венскими методами, решили, что это чистая правда? Элеонора фон Берг — удивительная женщина. Но в семидесятом году никто здесь купален не перестраивал. В тот год здесь вообще не было строек. Зато в августе семидесятого...

Он осёкся. Взглянул на Элеонору, как раз тихо смеявшуюся какому-то вопросу профессора, и понизил голос до шёпота:

— Впрочем, зачем вам эти детали? Вы приехали отдохнуть от своих городских сумасшедших. Пейте воду, слушайте квартет и не вскрывайте чужих нарывов, коллега. Здесь курорт. На курорте люди должны спать.

Манек поднялся, провёл ладонью по сухой рыжей спине спящего кота и неторопливо вышел, поскрипывая натёртыми воском сапогами.

Леон остался за своим столиком. В камине с треском осело прогоревшее полено, выбросив сноп золотистых искр; они взлетели в дымоход и погасли, не долетев до решётки. Элеонора аккуратно закрыла тетрадь, поправила шаль и поднялась. Кружок расходился с просветлёнными, почти молитвенными лицами. Софи на прощание поцеловала её в сухую щёку.

Той ночью Леон долго не мог уснуть. Около полуночи он накинул халат и спустился в читальню на втором этаже. Там, в застеклённых шкафах, стояли переплетённые в коленкор подшивки «Marienbader Zeitung» и курортные списки гостей за полвека. Ночной портье, позёвывая, отпер ему шкаф и оставил зажжённую лампу.

Том за 1870 год пах мышами, клеем и пылью. Бумага пожелтела и стала ломкой у краёв. Леон листал медленно, водя пальцем по мелкому готическому шрифту. Июль: приезд эрцгерцогини, концерт в пользу вдов, известия с франко-прусского фронта. Август: сводки погоды. Засуха. «Дождя не было двадцать шесть дней». «Горят торфяники в долине за Хамелькой, дым стоит над городом, отдыхающим рекомендуется не выходить после полудня». Грязевые ванны на время закрыты — торф для них возили как раз с тех болот.

Середина августа. Леон перевернул страницу — и увидел, что следующий лист вырван. Аккуратно, почти у самого корешка, ножницами или бритвой. От него остался лишь узкий бумажный язычок с обрывками букв.

Он долго сидел над раскрытым томом. Лампа потрескивала. За окном читальни туман прижимался к стеклу, как любопытное лицо.

Глава III. Разговор под колоннадой

К концу второй недели дождь перестал быть погодой и стал единственным состоянием мира. Он шёл не каплями, а ровными тяжёлыми нитями, превращая аллеи в зеркальные каналы, где отражались чёрные намокшие стволы сосен. Водосточные трубы гудели с утра до вечера. На ступенях колоннады стояли лужи с радужными разводами от железистой воды, и в них плавали жёлтые кленовые листья, похожие на раскрытые ладони.

Около полудня Леон стоял под сводами питьевой галереи. Обычно в этот час у бювета толпились курортники, но из-за ненастья сегодня здесь было пусто. Пахло мокрым камнем,

сырой шерстью, озоном и медицинским железистым духом источника. В глубине галереи, спасаясь от сырости, квартет тихо играл ноктюрн Носковского. Альт и виолончель звучали глухо и влажно, будто звук впитывался в туман, как вода в промокашку.

Элеонора фон Берг стояла у самого края галереи, где с чугунного карниза со звоном срывались тяжёлые струи. На ней было всё то же тёмно-синее пальто с глухим меховым воротником и небольшая шляпка с вуалью. В руках — фарфоровая кружка.

Порыв ветра занёс под навес облако водяной пыли. Элеонора вздрогнула, потянувшись в карман за платком и уронила его. Квадрат белого батиста, пропахший лавандой и миндальным маслом, упал на мокрые плиты прямо к ногам Леона.

Леон поднял платок и подал ей.

— Благодарю вас, сударь, — тихо сказала Элеонора, наклонив голову. Вблизи её голос звучал ещё более хрупко, с той лёгкой суховатой хрипотцой, какая бывает у стариков, подолгу молчащих в одиночестве. — В такую погоду Мариенбад кажется совсем старым, не правда ли? Словно его забыли в шкафу вместе с платьями прошлого века.

— Вы находите? — Леон чуть улыбнулся и коснулся полей шляпы. — А мне кажется, дождь здесь — единственный честный лекарь. Смывает суету и оставляет лишь то, что действительно имеет вес.

Элеонора посмотрела на него сквозь сетку вуали. Её глаза — прозрачно-серые, чуть выцветшие, с желтоватыми венчиками вокруг зрачков — были удивительно ясными.

— Вы очень наблюдательны, доктор, — медленно произнесла она. — Да, я знаю, что вы доктор. Вы смотрите на людей так, будто ищете, где у них сломан механизм. Не нужно этого делать. В Мариенбаде механизмов не чинят. Их смазывают елеем и оставляют в покое.

Они неторопливо пошли вдоль закрытых деревянных лавок, где летом торговали фарфором и кружевами. Ставни были заколочены, и на одной из них кто-то мелом вывел детскую рожицу, наполовину смытую дождём. Шаги Леона звучали глухо, а её тонкая трость с перламутровым набалдашником отбивала по плитам сухой ровный такт.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.